

18+

М О Д Ж У Л Ь Е Н

рассказ дочери



[18 лет я была узницей своего отца]

Замок из стекла. Книги о сильных
людях и удивительных судьбах

Мод Жульен

**Рассказ дочери. 18 лет я
была узницей своего отца**

«ЭКСМО»

2014

УДК 821.133.1-94
ББК 84(4Фра)-44

Жульен М.

Рассказ дочери. 18 лет я была узницей своего отца / М. Жульен —
«Эксмо», 2014 — (Замок из стекла. Книги о сильных людях и
удивительных судьбах)

ISBN 978-5-04-094779-9

В 1936 году 34-летний француз Луи Дидье совершил самую выгодную в своей жизни сделку. Он «купил» у бедного шахтера его младшую, шестилетнюю дочь Жанин. Луи воспитал себе жену, чтобы она родила ему прекрасную белокурую дочь, которая должна была стать сверхчеловеком...

УДК 821.133.1-94
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-094779-9

© Жульен М., 2014
© Эксмо, 2014

Содержание

Предисловие	6
Линда	7
Питу	10
Линдберг	12
Кеннеди	16
Мадам Декомб	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Мод Жульен

Рассказ дочери: 18 лет я была узницей своего отца

*Моей матери,
первой жертве Злого Великана*

Некоторые имена и личные подробности изменены с целью защитить право на частную жизнь людей, с которыми контактировала Мод Жульен.

«Вот живое свидетельство жизненной стойкости... Книга столь же захватывающая, сколь и вдохновляющая».

Elle

«Мод Жульен дает шокирующие свидетельские показания – но при этом ее рассказ полон надежды».

Ouest France

«Манипуляция – серьезная тема, и автор теперь профессионально работает с ней как психотерапевт. Мод Жульен пишет без обиды и гнева – она несет благою весть надежды».

Livreshebdo

«Прочитав «Рассказ дочери», вы задаетесь вопросом: как такое могло случиться и как Мод после такого воспитания сумела вписаться в общество? Казалось бы, она должна была стать глубоко травмированной дикаркой с агорафобией. Но нет, Мод Жульен излучает жизненную силу».

Libération

«Несмотря на внешнее сходство, это не «...надцатая» книга о чудесном спасении невинной жертвы. Это – намного больше и лучше. Один из самых восхитительных моментов этой книги – то выдающееся сопротивление, которое развила в себе Мод... ее способность создать для себя собственный мир».

Le Journal de Dimanche

«Это ни в коем случае не слезоточивая сентиментальщина – книга настолько захватывает, что время от времени приходится напоминать себе дышать».

Le Point

«Ее книга – луч надежды».

Metro Belgique

© Мельник Э., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Предисловие

В 1936 году тридцатичетырехлетний Луи Дидье был обеспеченным человеком. Выходец из семьи со скромным происхождением, он очень быстро поднялся по социальной лестнице и теперь управлял собственной компанией в Лилле. Посвященный масонской ложе, он имел крайне мрачное представление о падшем мире, в котором верховодят темные силы.

В том году он познакомился с шахтером из городка Фив. Мужчина из сил выбивался, стараясь прокормить многочисленных детей. Луи Дидье предложил шахтеру «доверить» ему младшую дочь – светловолосую шестилетнюю девочку: «Жаннин никогда не будет ни в чем нуждаться; она получит блестящее образование и жизнь со всеми удобствами. Мое единственное условие – вы с ней больше никогда не увидите».

Не ясно, имела ли эта сделка финансовую основу. Шахтер согласился. Жаннин осталась жить под опекой Луи Дидье и больше никогда не видела своих родных.

Луи Дидье сдержал свое обещание. Жаннин училась в школе-пансионе и получила превосходное образование. Достигнув возраста согласия, она вернулась жить к своему опекуну. Он оплатил ей изучение философии и латыни в университете Лилля и позаботился, чтобы ее диплом был честно заслуженным.

Не знаю, когда именно Луи Дидье раскрыл Жаннин свой грандиозный замысел. Рассказывал ли Дидье о нем, когда она была еще маленькой девочкой и проводила с ним только каникулы? Или дождался, пока она повзрослела и стала его женой? Думаю, в глубине души Жаннин «всегда знала», какова ее миссия: подарить ему дочь, такую же светловолосую, как она сама, а потом позаботиться об образовании этого ребенка.

Дидье верил, что дитя, которое Жаннин произвела на свет, станет, как и его отец, «избранным». Он верил, что его дочь будет призвана «возвысить человечество». Благодаря образованию, специально полученному матерью, этого ребенка предстояло воспитать вдали от оскверняющих влияний внешнего мира. Луи Дидье собирался взять на себя ответственность за физическую и духовную подготовку дочери, чтобы она стала «высшим существом», вооруженным всем необходимым для выполнения трудной и монументальной задачи, которую он перед ней поставил.

Через двадцать два года, после того как Жаннин стала его собственностью, Луи Дидье решил, что ей пришло время произвести на свет дочь и что датой рождения девочки должно быть 23 ноября 1957 года.

Дидье верил, что дитя, которое Жаннин произвела на свет, станет, как и его отец, «избранным». Он верил, что его дочь будет призвана «возвысить человечество».

23 ноября 1957 года Жаннин родила девочку с очень светлыми волосами.

Три года спустя, в возрасте 59 лет, Луи Дидье ликвидировал все свои активы, купил дом неподалеку от Касселя, между Лиллем и Дюнкерком, и удалился туда вместе с Жаннин, чтобы целиком и полностью посвятить себя осуществлению проекта, который разработал еще в 1936 году: сделать своего ребенка сверхчеловеком.

Этим ребенком была я.

Линда

Когда я впервые попадаю в этот дом, мне еще нет четырех лет. На мне красное пальтишко. Я до сих пор ощущаю кончиками пальцев его текстуру – толстую, ворсистую. Никто не держит меня за руку, никого нет рядом. Я лишь чувствую, как мои кулачки сжаты в карманах, они крепко держатся за ткань, цепляются за нее.

Земля здесь засыпана бурым гравием. Я ненавижу это место. Сад кажется бесконечным; у меня такое чувство, будто он проглатывает меня. А потом появляется мрачное, вызывающее смутную тревогу строение – слева надо мной нависает огромный дом.

Я слышу, как тяжелые ворота скрежещут по гравию, закрываясь за мной. Пронзительное «скрип-скрип-скрип», пока две половинки не сойдутся с лязгом. Потом раздается «щелк» замка, за которым следует «кланк»: ворота заперты навсегда. Я не осмеливаюсь повернуться. Такое ощущение, будто надо мной только что задвинулась крышка.

Всякий раз как мы оказываемся одни, мать выговаривает мне, мол, это я виновата, что нам пришлось уехать из Лилля и похоронить себя заживо в этой дыре. Что я ненормальная. Что меня приходится прятать, иначе меня сразу же запрут в Байёлль. Байёлль – это психиатрическая лечебница. Я однажды была там, когда родители брали одну из пациенток на работу в качестве горничной. Это страшное место, наполненное криками и хаосом.

Это правда, я не вполне нормальна. В Лилле у меня были чудовищные истерики, и я билась головой о стены. Я была сгустком неукротимой воли, полным восторга и ярости. Было больно, когда неровная поверхность стен врезалась в голову, когда мать стискивала мою руку в своей и оттаскивала от стены, ухватив за локоть. Но я не боялась. Я чувствовала себя храброй, ничто не могло меня сломить.

Отец велел покрыть стены галечной штукатуркой еще более грубой текстуры, чтобы «усмирить» меня. Толку от этого не было. В припадках гнева я по-прежнему подбегала и билась головой об эти стены. Мне столько раз приходилось накладывать швы, что мой скальп испещрен шрамами. Мать, которой не раз случалось получать ссадины или рвать платья, проходя мимо этих стен и задевая их, очень злилась на меня.

С тех пор как мы поселились в этом доме, я больше не чувствую себя такой сильной. Я одинока. Я уже не хожу в детский сад. Теперь меня учит мать – там, на втором этаже. Я больше не бываю в отцовской автомастерской, где рабочие когда-то смешили меня. Мы вообще почти не покидаем дома, и гостей у нас бывает раз-два и обчелся.

В Лилле у меня были чудовищные истерики, и я билась головой о стены.

Я была сгустком неукротимой воли, полным восторга и ярости.

Чего мне хочется – так это ходить в школу, в настоящую школу, где у меня будет учительница и множество друзей. Хотя я до ужаса боюсь отца, я все равно спрашиваю:

– А я смогу когда-нибудь пойти в школу?

Родители смотрят на меня так, словно я только что сказала какую-то жуткую гадость. На лице матери написано отвращение. Взгляд отца буравит меня.

– Неужели ты не сознаешь, – говорит он, – что ради тебя я заставил твою мать столько лет учиться? Ей пришлось несладко, поверь мне. Она думала, что никогда не добьется успеха. А я заставлял ее продолжать. С теми знаниями, которые у нее теперь есть, она могла бы учить целый класс. Но она целиком и полностью в твоём распоряжении, пока в восемнадцать лет ты не сдашь экзамены за курс средней школы. Тебе так повезло в жизни – и ты еще жалуешься?

Не знаю, какой демон подбивает меня на эту дурную идею:

– Если она может учить целый класс, почему мы не занимаемся в классе с другими учениками?

Воцаряется гробовое молчание. Мои конечности леденеют. Я знаю, что больше не осмелюсь поднять эту тему. И в школу ходить не буду.

К счастью для меня, здесь есть Линда. Она попала в дом примерно в то же время, что и мы. Мы росли вместе. В моих самых первых воспоминаниях о ней она еще не совсем взрослая. Когда она виляет хвостом, его кончик задевает мое лицо. Мне щекотно. Я смеюсь. Мне нравится запах ее шубки.

Щенком она спит в кухне, потому что ночи в северной Франции холодные. Но ей не разрешается входить ни в какое другое помещение. Когда мы сидим в столовой, я слышу, как она скулит в коридоре. Вскоре ее выгонят жить в неотапливаемую подсобку.

Отец ждет не дожидается, когда можно будет окончательно выставить ее из дома. Он заказал крашеную деревянную конуру, и ее поставили в саду позади кухни. Теперь Линда должна спать там. Ей категорически запрещено появляться в доме – до тех пор, пока не наступают серьезные морозы, которые загоняют бедное дрожащее создание обратно в кладовку; ее шерсть стоит колом от намерзшего льда.

Отец раздражен.

– Собаки нужны, чтобы сторожить дом, – говорит он. – Их место на улице.

Морозы заканчиваются, и Линду все чаще и чаще сажают на цепь, прикрепленную к ограждению на наружном крыльце. Я бегаю туда повидаться с ней при любой возможности. Она кажется мне огромной. Я беру ее за ошейник и зарываюсь лицом в мех. Собака боится отца, который гулким голосом выкрикивает команды. А с матерью Линда общается с холодной любезностью, и мать злится.

– Это моя собака, – твердит она мне. – Но – как же, как же! – ведь все на свете должно принадлежать тебе! Ты ведешь себя так, будто она твоя. И ухитрилась заставить глупое животное поверить в это.

Мне стыдно. Я не понимаю, кто кому принадлежит. Однако Линде это совершенно безразлично. Она продолжает в восторге прыгать вокруг меня.

Однажды появляются строители. Отец говорит мне, что у Линды теперь будет целый дворец. Я вне себя от радости за нее. Когда это сооружение достроено, оказывается, что у него странная форма: передняя часть «дворца» достаточно высока, чтобы взрослый человек мог стоять в ней, выпрямившись в полный рост, а за нею следует помещение с более низким потолком, обшитое стекловатой, «чтобы ей было тепло и хорошо». Отныне и впредь Линда может оставаться вне дома, какая бы ни была погода.

Как ни странно, Линда наотрез отказывается даже лапой ступить в заднюю часть новой конуры. Отец велит мне войти туда и сесть в дальний угол, чтобы она привыкла, и вскоре Линда присоединяется ко мне. Несколько дней подряд мы с удовольствием забираемся в этот маленький альков и лежим там в обнимку.

Спустя неделю отец зовет меня посреди дня и приказывает отправляться в конуру вместе с собакой. Ура! Неожиданная передышка от уроков! Линда восторженно мчится ко мне, и мы с ней вместе сворачиваемся в клубок в нашем маленьком убежище. И в этот момент я слышу, как приближаются рабочие. Не знаю, почему, но у меня замирает сердце. Они входят в конуру, неся тяжелую металлическую дверь с решеткой, выкрашенной черной и белой краской. Поднимают ее, и – *кланк* – навешивают на петли.

– Мод, выходи оттуда! – кричит отец.

Я повинуюсь. У меня нет иного выбора, кроме как повиноваться. Я выхожу, оставляя Линду за решеткой. Ее глаза полны печального непонимания.

– Видишь, – говорит отец, глядя мне прямо в глаза, – она доверяла тебе, и вот к чему это привело. Никогда никому не доверяй.

С этого дня и до конца жизни Линда заперта в своей конуре с восьми утра до восьми вечера. Она доверяла мне, а я не понимала, чем это грозит. Она оказалась в ловушке из-за меня.

Поначалу Линда скулит, царапает решетку и тянет сквозь нее лапу, когда я прохожу мимо. Останавливаться мне не разрешено. Я смотрю на нее, безмолвно прося прощения. По мере того как проходят недели, она привыкает сидеть за своей решеткой в полном безмолвии, из глаз пропадает искра, только хвост виляет, когда она меня видит.

Затем ее характер меняется. У нее начинаются вспышки агрессии, и никто не знает, что служит поводом для них. Она рычит и скалит зубы, когда слышит шаги. После восьми вечера, когда ее выпускают побегать по саду, она даже гоняется за матерью. Линда – крупная немецкая овчарка, она может, когда захочет, быть очень грозной. Мать защищается, обливая ее водой из ведра. Вскоре Линда начинает дрожать от одного вида ведра.

Отец удовлетворен. Линда стала прекрасной сторожевой собакой. Чтобы отточить ее воспитание, он порой выпускает Линду из ее тюрьмы и приказывает сторожить его велосипед. Она должна неподвижно сидеть рядом с ним. Затем отец заставляет меня подходить к ней и, как только собака вильнет хвостом, прикрикивает на нее. Она тут же поджимает хвост, пряча его между ног. Как только Линда понимает, как именно надо сторожить велосипед, отец гладит ее и вознаграждает часом-двумя свободы.

– Видишь, – говорит отец, глядя мне прямо в глаза, – она доверяла тебе, и вот к чему это привело. Никогда никому не доверяй.

Через пару месяцев такого обучения он решает испытать ее. Когда Линда сидит рядом с велосипедом, неподвижная, точно каменная, отец велит мне подбежать, схватить велосипед и покатить его прочь. Я слушаюсь приказа. Видя, что я подбегаю к ней, Линда вскакивает, бросается на меня и впивается клыками в мое бедро. Я вскрикиваю от неожиданности и боли. Линда тут же разжимает зубы и ложится на землю, глядя на меня полными отчаяния глазами.

– Кто угодно, какие бы глупые приказы ему ни отдавали, нападет на тебя – даже эта собака, которую ты считаешь такой верной, – говорит отец.

Но я все равно продолжаю так же сильно любить Линду; я никогда не поверю, что она укусила меня нарочно. Это была случайность. Отец часто возвращается к этому эпизоду. Он хочет, чтобы я поняла, что он – единственный, кто любит и защищает меня. Что я должна доверять только ему.

Он хочет, чтобы я поняла, что он – единственный, кто любит и защищает меня. Что я должна доверять только ему.

Питу

Каждый вечер ровно в восемь я иду и освобождаю Линду из заточения. Прежде чем выпустить ее в сад на ночь, я потихоньку рассказываю ей разные истории, и она внимательно слушает. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подслушал, что я ей рассказываю, поэтому шепчу ей на ухо. Иногда Линде становится щекотно, и она трется ухом о мою щеку. Я часто рассказываю ей об утках. Они живут у пруда, который мой отец велел выкопать в нижней части сада.

Наступил сезон миграций, и над головой пролетают стаи диких уток. Некоторые из них порой приземляются на участке вокруг нашего дома. Отца это тревожит, поскольку эти пришельцы со стороны могут «осквернить» наших птиц. Он хватает карабин и палит по незванным гостям. Мать прогоняет их с помощью здоровенных кузнечных мехов, которые издают нестерпимый трубный звук.

Нам нужно что-то сделать, чтобы не дать сбежать собственным птицам, поэтому мы подрезаем каждой из них одно крыло. Ловить уток приходится мне, поскольку по какой-то необъяснимой причине ко мне они идут с готовностью. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как охотно они подбегают, стоит только позвать. Я передаю их матери по одной, и она в поте лица трудится, подрезая им перья короткими толстыми ножницами.

Утиные перья очень жесткие. Она подрезает их очень коротко, иногда настолько, что пускает птицам кровь. Утки смешно ковыляют, их нетронутое крыло кажется огромным по сравнению с обрубком на другом боку.

Я рассказываю Линде об отвратительном хрусте перьев под ножницами, о вонии жидкого помета, который птицы выпускают от страха. Я кажусь себе такой уткой в пруду – с одним крылом, которое родители хотят отрастить длинным и красивым, и другим, обкромсанным под ноль.

К счастью, у меня находятся и более жизнерадостные истории, чтобы рассказать Линде. Например, о Питу – птенце мускусной утки, которого мы ухитрились спасти от верной смерти.

Услышав жалобное криканье, мы втроем подбегаем и видим жалкий комочек перьев, которого подмял под себя большой селезень. Ухватив утенка клювом за голову, он топчет его в пруду. Должно быть, этот селезень – его собственный отец, вознамерившийся утопить малыша.

Мать хватается палку и бьет большого селезня, чтобы он отпустил Питу. Но тот упрям: он уклоняется от ударов, не выпуская утенка. Мать тоже не отступает. Она бежит туда-сюда по узким мосткам через пруд и – плюх! – падает в воду. Я наклоняюсь, чтобы подать ей руку, и тоже падаю в пруд.

Я кажусь себе такой уткой в пруду – с одним крылом, которое родители хотят отрастить длинным и красивым, и другим, обкромсанным под ноль.

– Откуда вы, черт вас возьми, взялись на мою голову, две дурехи! – гневно кричит отец.

Мы плюхаем по грязной, вонючей воде; прическа матери разваливается, и ее длинные светлые волосы рассыпаются по грязи. Наконец, она хватается меня за шиворот и поднимает на мостки.

Я вся облеплена грязью, но Питу бросить не могу. Ему удалось удрать от отца, но он беспомощно трепыхается, почти тонет. Я снова тянусь вперед, и мне удается схватить его. Потом моя нога скользит, и я снова оказываюсь в воде. Ухватившись за мостки, наконец, выбираюсь на берег, не выпуская Питу.

Бедняжка дрожит в моих ладонях, его мокрые перышки прилипли к бокам.

– Он замерзает! – плачу я. – Он простудится и умрет!

Отец, который всего пару мгновений назад был вне себя от ярости, внезапно смягчается. Может быть, Питу напоминает ему о кролике, которого он любил в детстве и которого его собственный отец, человек без сердца, однажды вечером подал на стол к ужину?

– Чтобы согреть, надо всего-навсего сунуть его в духовку, – ворчит он.

Вне себя от радости, я бегу в дом. Когда тельце Питу обсыхает, я оставляю его при себе на весь остаток дня – и потом с ним не расстаюсь. Отец определенно неровно к нему дышит. Он позволяет мне таскать утенка повсюду, уютно устроив его в коробке с выстланным ватой дном.

Через пару дней этот «медовый месяц» заканчивается, и мне приходится снова отнести Питу в утиный загон. Но селезень по-прежнему настроен враждебно: едва завидев Питу, он бросается на него и бьет клювом. Я спрашиваю отца, можно ли Питу жить за изгородью вокруг пруда.

– Как пожелаешь, – отвечает он, – но когда его съест Линда, винить тебе придется только себя.

Питу совершенно не боится Линды. Он свободно бродит по всему саду, не считая площадки у пруда, от которой бежит как от чумы. Несмотря на все мои старания научить его плавать, утенок бьется, точно одержимый, и издает жалобные крики, стоит мне поднести его поближе к воде.

Питу вырастает в красивого черного селезня с красной головой. Завидев меня, он, переваливаясь, подбегает ко мне и остается рядом все время, пока я работаю в саду, смеша меня длинными тирадами задорного кряканья. Ему повезло, он – мускусная утка и не может летать; поэтому ему не подрезают крылья, как другим. Но больше всего меня радует, что он прекрасно ладит с Линдой. Когда она днем сидит взаперти, он пролезает между прутьями решетки и проводит время с ней вдвоем в задней части конуры.

Линда и Питу – мои самые дорогие существа, я для них готова на что угодно. Родители это понимают. Если они хотят, чтобы я что-то сделала, им достаточно пригрозить: «Смотри же! Если ты этого не сделаешь, Линда будет заперта лишние два часа в день в течение месяца», или «Мы на три дня посадим Питу в деревянный ящик без еды и питья», или, того хуже, «Мы вернем Питу туда, где ему и место» – то есть в утиный пруд, в котором, уверена, он не выживет. Так что мой маленький бунт мгновенно сходит на нет.

Если ты уйдешь жить с другими людьми, они будут обращаться с тобой так же, как утки на пруду обращаются с Питу. Они, ни на миг не задумываясь, превратят тебя в фарш.

Отец часто упоминает Питу, когда рассказывает мне о человеческой натуре.

– Если ты уйдешь жить с другими людьми, они будут обращаться с тобой так же, как утки на пруду обращаются с Питу. Они, ни на миг не задумываясь, превратят тебя в фарш по глупейшим причинам, а то и вовсе без всякой причины.

Линдберг

Мой отец не любит, когда я ничем не занята. Пока я была маленькой, мне позволяли играть в саду после уроков. Но теперь мне почти пять, и свободного времени стало меньше.

– Ты не должна зря терять время, – говорит отец. – Сосредоточься на своих обязанностях.

Несмотря ни на что, мой разум порой витает где-то в облаках, и я иногда просто сижу, уставившись в пустоту. Или когда замирают идущие в усадьбе строительные работы, я, бывает, тоже останавливаюсь, чтобы перевести дух. И тогда – неизменно – на меня наваливается эта чудовищная тишина. Сердце начинает колотиться, я медленно оборачиваюсь – и вот он, стоит за моей спиной.

– Чем это ты занимаешься?! – ревет он.

Я абсолютно беспомощна. Я не могу раскрыть рта, и это придает мне виноватый вид, я знаю. Охваченная страхом, я лихорадочно возвращаюсь к работе.

Не знаю, как отец это делает, но у него словно просыпается шестое чувство, когда речь идет о моих слабостях. Стоит мне потерять бдительность – и я в ту же минуту знаю: он здесь, прямо за моей спиной, со своим пронзительным взглядом. Даже когда он не присутствует во плоти, я все равно чувствую, как его глаза буравят мой затылок.

Когда мы с матерью выпалываем в саду сорняки, я искоса люблюсь чудесным деревом. Оно не самое высокое и не самое пышное, зато самое красивое. У него есть большая, низко нависающая ветвь, которая горизонтально отходит от ствола, потом грациозно изгибается, прежде чем устремиться в небеса. Я представляю, как сижу в петле этого изгиба, словно специально созданного, чтобы в нем играл ребенок.

Однажды, когда мать отходит подальше, я залезаю на эту ветвь и в восторге усаживаюсь на нее. Не знаю, как долго я там просидела, зато отчетливо помню, как отцовская рука свирепо хватает меня сзади за волосы и швыряет на землю, чуть не вышибая из меня дух. Я не слышала, как он подкрался. С той самых поры я лишь издали люблюсь этим деревом счастья.

В любом случае, свободного времени у меня не так-то много. Мои дни до предела заполнены уроками, музыкой, моей долей работы по дому и прислуживанием отцу. Порой мне удастся пробраться в большую комнату, из окна которой видно улицу. Там я могу пару минут понаблюдать за прохожими.

Я стараюсь заходить туда по утрам, около восьми, до уроков с матерью. В это время рабочие идут на фабрику «Катлэн», расположенную по соседству с нашей усадьбой, только с другой стороны. Они быстрым шагом проходят мимо дома, неся с собой обед в корзинках.

Время от времени мне удастся увидеть их и по вечерам, около шести. Они выглядят усталыми, но я вижу, что они счастливы. Порой я замечаю, как на полпути кого-нибудь из них встречает женщина или ребенок бежит навстречу, чтобы поздороваться. Я всматриваюсь в эти лица. По вечерам, лежа в постели, я представляю себя взрослой женщиной, женой рабочего с фабрики, который уходит по утрам на работу, неся в корзинке приготовленную мной еду.

По утрам я вижу и детей, идущих в школу группками или парами. Мне это кажется чем-то сверхъестественным – то, что они ходят в школу. Я мечтаю об этом, но моя «школа» находится на втором этаже. Я собираюсь со всем своим мужеством и обращаюсь к матери: предлагаю разрешить мне выходить из калитки на задах усадьбы, словно я тоже иду в школу, а потом возвращаться вдоль забора к передней двери. Мать выслушивает меня без единого слова.

Чуть позже меня вызывают в столовую. Мои родители серьезны – как обычно. Отец начинает рассказывать мне о знаменитом американском летчике Чарльзе Линдберге, с которым он был знаком в молодости. Это один из немногих ныне живущих людей, которых отец уважает. У них много общего. Начать хоть с того, что они оба родились в 1902 году. Как и Линдберг, мой отец был авиатором, и, так же как он, отец – высокопоставленный масон. У Чарльза Линдберга

был крошка-сын, которого похитили и убили. Это было «преступление века», и оно произвело огромное впечатление на моего отца.

По утрам я вижу и детей, идущих в школу группками или парами. Мне это кажется чем-то сверхъестественным – то, что они ходят в школу.

Поняла ли я из его объяснений, что это было давно, еще до войны? Как бы там ни было, серьезная мрачность его тона создает у меня такое впечатление, что эта трагедия случилась буквально только что. Мое сердце разрывается от сочувствия к этому бедному Чарльзу Линдбергу.

Тут подает голос мать:

– Сына супругов Пежо тоже похитили, – говорит она.

Я не знаю, когда именно это случилось, но мне представляется, что тоже совсем недавно. К счастью, ребенка спасли, но, тем не менее, ему угрожала ужасная опасность. У моего отца были дружеские связи и с Пежо, потому что он долгое время владел крупнейшей дилерской конторой «Пежо» в Лилле.

– Ты тоже в опасности, – говорит он, пристально глядя на меня. – Люди попытаются похитить тебя. Вот почему ты не должна выходить наружу. Всего одна машина – как тот черный «Пежо-403», в который затащили маленького Эрика Пежо, – проедет мимо тебя, и ты исчезнешь вместе со своими похитителями.

Отец напоминает о еще одной мере безопасности, которая мне уже хорошо известна: ни в коем случае нельзя включать свет, когда подняты жалюзи. Это сделает нас легкими мишенями для потенциального снайпера, прячущегося по другую сторону дороги. Вначале нужно опустить жалюзи, и только тогда можно зажечь лампу.

Ты тоже в опасности. Люди попытаются похитить тебя. Вот почему ты не должна выходить наружу.

Мне дают понять, что в настоящее время идет «волна похищений детей». После малыша Линдберга и сына Пежо я – третья в списке.

Должно быть, вид у меня очень напуганный, и отец снисходит до того, чтобы утешить меня. Он говорит, что мне повезло: у меня есть шрамы, которыми «отмечены обе стороны моего тела», так что я не рискую стать жертвой «торговли белыми рабынями». И эти шрамы, безусловно, помогут отцу узнать меня в любых обстоятельствах. Моя вера в него ни в коем случае не должна поколебаться.

Моя мать подтверждает:

– Мсье Дидье способен сделать и увидеть все, что угодно.

Даже не знаю, утешает это меня или приводит в ужас.

Отец вновь повторяет, что все, что он делает, он делает ради меня. Что он посвящает мне всю свою жизнь, чтобы обучать, формировать, лепить из меня то высшее существо, которым мне суждено стать. Он говорит, что любил меня уже тогда, когда я еще не родилась. Он всегда хотел иметь дочь, которую назовет Мод. Мод – как жена сподвижника Робина Гуда, Уилла Скарлетта. Выдающаяся женщина, воин, амазонка, верная своей любви до самой смерти.

Отец говорит, что мечтал обо мне, когда был совсем молодым. И как только смог, сделал все, что необходимо, чтобы я появилась на свет. Это было долгое предприятие. Вначале ему нужно было найти женщину, которая меня родит. Он нашел мою мать, которой было всего пять или шесть лет, когда он ее выбрал. Она была младшей дочерью одного шахтера с севера, а отец был тогда уже богатым человеком, так что ему без труда удалось убедить родителей доверить ему дочь. Отец не позволял ей встречаться с семьей, чтобы уберечь от внешних влияний. Он сердцем и душой взялся за ее воспитание и дал ей наилучшее возможное образование, а когда пришло время, она родила меня.

Я должна понять, насколько само мое существование является результатом отцовских планов. Я знаю, что обязана показать себя достойной тех задач, которые он поставит передо мной позже. Но боюсь, что не смогу соответствовать его требованиям. Я чувствую себя слишком слабой, слишком неуклюжей, слишком глупой. И я так боюсь его! Даже его грузного тела, большой головы, длинных худых рук и стальных глаз. Я в таком страхе, что у меня подкашиваются ноги, когда я приближаюсь к нему.

Еще страшнее мне от того, что я в одиночестве противостояю этому великану. От матери ни утешения, ни защиты ждать не приходится. «Мсье Дидье» для нее – полубог. Она обожает и ненавидит его, но никогда не осмелится противоречить. У меня нет иного выбора, кроме как закрыть глаза и, трясаясь от страха, укрыться под крылом моего создателя.

Мой отец убежден, что разум способен достичь чего угодно. *Абсолютно всего*: он может победить любую опасность и преодолеть любое препятствие. Но чтобы сделать это, требуется долгая, деятельная подготовка вдали от скверны этого нечистого мира. Он всегда говорит: «Человек по сути своей зол, мир по сути своей опасен. На земле полным-полно слабых, трусливых людишек, которых подталкивают к предательству их слабости и трусость». Отец разочарован миром; его часто предавали.

Отец вновь повторяет, что посвящает мне всю свою жизнь, чтобы обучать, формировать, лепить из меня то высшее существо, которым мне суждено стать.

– Ты не знаешь, как тебе повезло быть избавленной от осквернения другими людьми, – говорит он мне.

Вот для чего нужен этот дом – чтобы держать на расстоянии миазмы внешнего мира.

Отец порой говорит мне, что я не должна покидать этот дом никогда, даже после того как он умрет. Его память будет и дальше жить в этом доме, и если я стану о нем заботиться, то буду в безопасности. А иногда заявляет, что потом я смогу делать все, что захочу, смогу стать президентом Франции, повелительницей мира. Но когда я покину этот дом, то сделаю это не для того, чтобы жить бесцельной жизнью «госпожи Никто». Я покину его, чтобы завоевать мир и «достичь величия». Мне придется время от времени возвращаться, чтобы перезарядиться на «домашнем аэродроме» – в этом доме, который с каждым днем впитывает все больше и больше отцовской энергии и силы.

Есть еще и третий возможный сценарий: я остаюсь в доме, чтобы применять на практике уроки дисциплины, которые он вдалбливал в меня с раннего детства. И готовиться к тому дню, когда меня призовут «возвысить человечество». Я спрашиваю, как я пойму, что настало время возвысить человечество.

Отец порой говорит мне, что я не должна покидать этот дом никогда, даже после того как он умрет.

– Я дам тебе знать, даже если меня больше здесь не будет, – отвечает он.

Когда я вспоминаю свои тайные мечты о муже-рабочем и обеде в его корзинке, мне стыдно.

Чтобы не слишком разочаровывать отца, я развязываю войну со своими многочисленными недостатками. Но существует один недостаток, над которым я не властна: у меня есть привычка дергать носом и губами и косить глазами.

– Прекрати корчить рожи, – часто говорит мать.

Отец этого терпеть не может. С тех пор как я была крохой, он заставлял меня сидеть и смотреть ему в лицо, «не шевеля ни единым мускулом».

Поначалу я должна была сидеть неподвижно по две-три минуты подряд. Затем по четверти часа. Когда мне исполняется пять, он добавляет к моему ежедневному расписанию то, что сам называет «испытаниями на бесстрастность». Они проходят с восьми до четверти девя-

того вечера. Потом эти сеансы становятся еще длительнее и устраиваются в любое время суток, иногда длясь по несколько часов, из-за чего уроки и выполнение заданий откладываются, а потом все это надо наверстывать. И теперь моя мать тоже должна их выполнять. Когда мы одни, она шипит мне, как ненавидит меня за это.

И готовиться к тому дню, когда меня призовут «возвысить человечество».

– Ты не должна выдавать никаких чувств и мыслей ни лицом, ни телом, – говорит отец басом, – иначе тебя сожрут заживо. Только у слабаков бывают разные выражения лица. Тебе необходимо научиться контролировать себя, если хочешь быть великим игроком в покер.

Хочу ли я быть великим игроком в покер? Не знаю. Я никогда не играла в покер. Но я должна подготовиться на случай, если мне когда-нибудь потом это понадобится. В разные моменты своей жизни отец ухитрялся оставаться на плаву благодаря своей сноровке в покере. Он умел казаться абсолютно бесстрастным, читая язык тел и выражения лиц своих противников, как открытую книгу.

Самое трудное в этом испытании на бесстрастность – желание почесаться. Зуд возникает с самого начала, распространяясь во всех направлениях. Через некоторое время прекращается. Потом начинается заново, еще назойливее, и становится настоящей пыткой. Кто не может с ним справиться, так это моя мать. Всегда наступает такой момент, когда ее рука или нога взлетает вверх, точно на пружине. Мне требуется огромное усилие, чтобы не расхохотаться.

– У твоей матери пляска святого Витта, – с крайним презрением выплевывает отец.

Он пристально изучает стоящее передо мной зеркало, чтобы убедиться, что я даже глазом не моргнула. Он считает «пляску святого Витта» клеймом слабых и бесталанных.

Боюсь, я тоже слаба и бесталанна. Игра в шахматы с отцом – сущее мучение. Я должна сидеть очень прямо на краешке стула и соблюдать правило бесстрастия, обдумывая свой следующий ход. Я чувствую, как растворяюсь под его тяжелым взором. Когда я двигаю пешку, он саркастически спрашивает:

– Ты хорошо подумала, что делаешь?

Я паникую и хочу поставить пешку обратно. Отец не позволяет.

– Ты коснулась фигуры, теперь должна идти до конца. Думай, прежде чем делать. Думай.

Кеннеди

Я сижу в комнате матери, одетая в пижаму. Она диктует мне странное письмо, оно начинается со слов «Мой миленький папочка» и включает многократное повторение фразы «Я тебя люблю». С тех пор как я научилась писать, мать диктует мне поздравительные письма «с Днем отца» и «с Днем матери». Не зная точных дат этих праздников, она решила, что День матери выпадает на третье воскресенье мая, а День отца – на третье воскресенье июня.

Я ничего не говорю, но каждый раз думаю, что это очень странно. Мы не говорим ласковых слов, потому что они «для слабых и сентиментальных». Слово «милый», например, в нашем доме не произносится никогда. Писать «Моя миленькая мамочка» кажется мне еще страннее, учитывая тон, которым она диктует эти слова. Мать терпеть не может мое имя и как только не ухищряется, чтобы никогда его не произносить. А я слежу за тем, чтобы никогда не называть ее «мамочкой».

Поскольку эти письма – «подарки», время, уходящее на их написание, вычитается из времени моего сна. Когда приходит пора ложиться спать, мать заставляет меня сесть на банкетку у ее трюмо, из-за чего мне крайне трудно писать аккуратно. Как правило, когда я сажаю чернильную кляксу на уроках, мать истерит и заставляет меня переписывать заново, десять раз, если понадобится. Но в таких случаях качество моего почерка не имеет значения. Если я не знаю, как пишется какое-то слово, она говорит: «Пиши, как захочешь». И это тоже странно. Обычно она бьет меня по голове линейкой, если я делаю ошибку в правописании.

Порой то, что диктует мать, заставляет меня хихикать про себя. Как, например, сегодня, когда письмо заканчивается словами: «Надеюсь, когда вырасту, у меня будет такой муж, как ты». Совершенная ложь. Если у меня и будет муж, когда я вырасту, надеюсь, он будет похож на рабочих с фабрики «Катлэн», а не на моего отца. В прошлом году мне пришлось написать: «Мне ни за что не нужен другой папочка, только ты». А разве можно выбрать собственного отца?

Когда я заканчиваю писать свое поздравительное письмо «с Днем матери», она отпускает меня спать без поцелуя. В нашем доме так заведено, что мы никогда не прикасаемся друг к другу, даже в День матери. Мне приходится вернуться в комнату и дожидаться, пока она ляжет в постель, прежде чем сунуть письмо ей под дверь. На следующее утро она показывает его отцу, говоря: «Смотри, что я нашла, когда проснулась сегодня утром». Письмо для отца следует сунуть ему под дверь за день до Дня отца – чтобы доказать, что я не забыла об этом дне.

Я совершенно не понимаю назначения этих писем, как и множества других вещей. Но вопросов не задаю. Единственный ответ, который я получила бы, был бы таким: «Есть правила, и ты должна им следовать. Прекрати задавать дурацкие вопросы».

Одно из правил касается пробуждения. Мою спальню отделяет от спальни матери ванная комната. Каждое утро в половине седьмого она распахивает мою дверь – *хрясь!* – включает свет и вопит: «Вставай!» Мать считает людей, которые встают позднее, в семь утра, «бездельниками». Под ее бдительным взором я должна тут же встать с постели и одеться – меньше чем за две минуты.

– Иди, разбуди отца и узнай, как он себя чувствует, – говорит она потом.

Это повторяется в точности каждое утро. Единственная вариация – когда мать порой говорит: «Узнай, в хорошем ли он настроении» вместо «Хорошо ли он себя чувствует».

Но нынешнее утро оказывается другим. Что-то не так. Мать, едва включив свет, возвращается в свою комнату. Я стараюсь одеться как можно быстрее, чтобы не замерзнуть. Потом жду, не зная, что делать дальше. Если я не пойду будить отца, у меня будут неприятности. Но если я пойду без ее распоряжения, у меня тоже будут неприятности.

Я копаюсь в памяти, пытаюсь вспомнить, не говорила ли мать чего-нибудь вчера вечером... Под конец решаю, что все же лучше будет пойти и постучаться в дверь к отцу.

«Есть правила, и ты должна им следовать. Прекрати задавать дурацкие вопросы».

Может быть, обычный распорядок изменен, потому что у меня сегодня день рождения? По мнению отца, день рождения – не праздник и меня следует муштровать так, чтобы мой никогда праздником и не стал. Вот почему каждое 23 ноября у меня всегда бывает более длинный «школьный» день и никакого отдыха. Я с опаской дожидаясь момента, когда узнаю, каким будет новый «урок», подготовленный к моему шестому дню рождения.

Мы в столовой. Мы с матерью стоим навтыжку перед отцом, который пригвождает нас взглядом к полу. Я еще никогда не видела мать в таком страхе. Она, заикаясь, бормочет, что кого-то убили и жена бросилась на тело и что это «конец света». Отец рывкает мне своим зычным голосом:

– Как она узнала? Как она до этого дозналась?!

Я в ужасе. Я понятия не имею, о чем он говорит. Откуда она узнала – что? Горло перехватило, невозможно издать ни звука. Отец обвиняет меня в том, что я «покрываю» мать», потом поворачивается к ней и забрасывает ее вопросами:

– Как ты узнала? Кто рассказал тебе о Кеннеди? Как ты узнала, что его убили? Отвечай мне, дура! Отвечай!

Кого-то убили? Кого? У нас что, труп в доме? И почему мать все время твердит, что скоро будет третья мировая война?

Наконец она сдается и признается, что втайне слушала радио. Отец вне себя.

– Где это радио? Пойди и найди его! – кричит он мне.

Я приросла к месту; все, что я понимаю, – это что плакать нельзя. Потом мать заходит мне за спину и пинает коленом в спину, шипя сквозь стиснутые зубы:

– Видишь, что творится в твой день рождения!

Она снова поднимается наверх, в свою спальню, и выходит оттуда, неся в руках старенький радиоприемник. Отец посылает меня принести из подвала молоток, а потом велит матери:

– Жаннин, тресни-ка его хорошенько.

В ту ночь я слышу, как мать плачет у себя в комнате. Я чувствую себя виноватой: я сделала что-то ужасное, и кто-то из-за меня умер. Принимаюсь гадать: действительно ли мой отец – это мой отец или он отец моей матери? Я говорю себе, что мужчина, которого убили, на самом деле ее муж. Значит, он мой настоящий отец, и, возможно, он погиб, пытаюсь помочь нам. И долго лежу в постели, с тяжестью на сердце, дрожа от холода.

Один вопрос неотступно донимает меня: кто настоящие родители моей матери? Я не имею ни малейшего понятия. Мать никогда не говорит о них. Отец тоже не слишком разговорчив, но в назидательных целях временами все же рассказывает о своем суровом бедняцком детстве. Мальчишкой ему приходилось пролезать сквозь прутья оград или проникать на первые этажи домов и воровать вещи, которые его отец продавал в своей лавке. Он был жестоким человеком и сильно бил сына. Еще мой отец рассказывает о бомбежках во время Первой мировой войны. В 1914 году ему было двенадцать лет, и он пережил настоящий голод: приходилось даже есть крыс. Свою мать он упоминает реже, а когда упоминает, его голос начинает дрожать.

Кого-то убили? Кого? У нас что, труп в доме? И почему мать все время твердит, что скоро будет третья мировая война?

А вот у моей матери никогда не возникает желания поговорить о детстве. Когда я спрашиваю ее: «Кто твоя мама и где она?» – она выдает лишь крохи информации. Я постепенно собираю их воедино и понимаю, что она родилась в семье шахтера в Фиве, на севере. В семье было то ли семь, то ли восемь детей, все девочки, кроме одного сына.

– Они – люди необразованные и неумные, – говорит мать.

Я спрашиваю, почему она ушла от них.

– Однажды моя старшая сестра Генриетта пришла домой вместе с твоим отцом. В то время он казался мне очень высоким и страшным. Они отвели меня в его дом. Я не знала, что никогда не вернусь к родителям, но когда поняла, скучать по ним не стала.

Мой отец отослал ее в пансион в очень юном возрасте, и там она была счастлива. Потом она отправилась учиться в университет, чтобы суметь дать мне домашнее образование, когда придет время.

– Мне было шесть, когда твой отец пришел, чтобы забрать меня, – говорит мать. – Тот же возраст, в котором ты сейчас. Видишь ли, я значу для него столько же, сколько и ты!

В конце тоннеля внезапно вспыхивает свет.

– А я? Теперь, когда мне шесть лет, кто-то тоже придет забрать меня? – с надеждой спрашиваю я.

– Все это мы сделали ради тебя, – ледяным тоном отвечает мать, – а ты ничего не понимаешь. Вечно только и думаешь о том, как сбежать. Если ты скажешь что-нибудь подобное отцу, это его убьет. И во всем будешь виновата ты.

Мадам Декомб

По мнению отца, музыка важнее, чем любой другой предмет. Они с матерью не музыканты, поэтому записывают меня на заочные курсы. Я уже умею называть ноты, когда пою, и читаю все тональности. Заучиваю диезы и бемоли, мажорный и минорный лады. Пора учиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Поначалу родители хотят, чтобы я заочно занималась и игрой на фортепиано, но в конце концов приходят к выводу, что это не слишком практично.

И тогда в мою жизнь приходит мадам Декомб. Родители выбрали ее, потому что она преподает фортепиано в Лилльской консерватории¹ и когда-то была концертирующей пианисткой. Это пожилая дама, миниатюрная и худенькая, с короткими седыми волосами, которые кажутся мне очень красивыми. Она спрашивает, умею ли я что-нибудь играть.

– Умею играть гаммы, – стесняясь, говорю я.

– Хорошо. Сыграй мне гамму до мажор.

К ее изумлению, я играю гамму в верном порядке правой рукой, но в неверном – левой.

– Кто, ради всего святого, тебя этому научил? – восклицает она.

Мать присутствует при этом первом уроке, поэтому я не смею сказать, что это она «объяснила», как я должна играть гамму, основываясь на присланном материале заочных курсов.

– Это я сама, по нотам из урока, – заикаясь, мямлю я.

– Если чего-то не знаешь, – сурово говорит мадам Декомб, – надо выяснять! Следовало спросить мать.

Дважды в месяц родители возят меня к ней домой. Она живет неподалеку от Лилля. Всякий раз для меня это мука мученическая. Прежде всего, живо воспоминание о том душераздирающем первом уроке. Мне стыдно, что я утверждала, будто умею играть, когда на самом деле не умела. А еще душит страх, что я не усвоила тот первый урок как следует и, возможно, неправильно выполняла упражнения. Но при этом я очень рада снова увидеть мадам Декомб. Она быстро исправляет мои гаммы и учит распознавать все тональности.

¹ Консерватории в западных странах не обязательно являются высшими учебными заведениями. В частности, Лилльская консерватория – это музыкальная школа, где обучаются дети 5–12 лет. – *Здесь и далее: Прим. перев.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.